не ставился, и потому перипетии его личной судьбы объяснялись поверхностно или неверно. Перед современными исследователями, желающими разобраться в реальной сложности внутреннего мира Маяковского, встанет немало вопросов. Успешно решить их смогут молодые исследователи, подготовленные не только филологически. До сих пор мимо внимания биографов поэта проходит, например, то обстоятельство, что дядя будущего поэта, Михаил Константинович, не был женат, не имел семьи. Одиночество, по-видимому, тяготило его. Во всяком случае, желая оградить своего младшего брата от бобыльей судьбы, он, сблизившись в местечке Джалал-оглы с семьей погибшего в турецкой кампании капитана Павленко, решил познакомить Владимира Константиновича с его дочерью. Брак оказался счастливым. Однако из троих детей (двое других, Саша и Костя, умерли во младенчестве) ни один не сложил своего очага. Людмиле, Ольге и Владимиру счастье семейной жизни оказалось заказано, как и их дяде. На вопрос, случайное ли это совпадение, смогут, вероятно, ответить специалисты широкого профиля.

* * *

Не менее сложным, чем выявление имманентных свойств личности, является, когда речь заходит о писателе, вопрос о соотношении жизненных реалий и художественного творчества. Теоретики справедливо подчеркивают качественное различие двух миров — жизни и искусства. Нас в данном случае интересует *лирика романтическая*. Некоторые авторы, акцентируя внимание на том, что она уводит читателя в мир мечты, фантазии и т. п., не уделяют должного внимания романтической субъективности. На теснейшую связь между переживаниями автора и его поэзией указал уже Жуковский: «И для меня в то время было//Жизнь и Поэзия одно». Много десятилетий спустя прозвучит признание Блока: «Чтобы по бледным заревам искусства//Узнали жизни гибельный пожар». Здесь искусство и жизнь как бы меняются местами. Эта «рокировка» — следствие выдвинутого символистами жесткого постулата, которому они следовали: «искусство — жизнетворчество». Известно, что художественный текст символисты рассматривали как «текст жизни», а литературную биографию как личную. Подобный взгляд на поэзию получает своеобразное выражение и у неоромантиков XX в., не принадлежавших к символизму [3].

Выявление сокровенных, нередко скрываемых от окружающих, особенностей внутреннего мира поэта-романтика становится зачастую возможным благодаря обращению к его стихам. Здесь невольно приходит на память признание Маяковского: «И любишь стихом,/а в прозе немею.//Ну вот, не могу сказать, не умею» [4, т. 4, с. 169]. Важную роль в прояснении того, что можно условно обозначить как «экзистенциальные» свойства личности, играют в поэзии *лейтмотивы*. Попытки соотнести их с личностью и судьбой Маяковского предпринимались у нас редко (в нашем ортодоксальном литературоведении 30-х — 70-х годов подобный подход считался ненаучным). Две наиболее решительные попытки подобного рода, предпринятые в разное время, оказались неудачными.

Первая принадлежит А. В. Луначарскому (выступление на вечере памяти Маяковского 14 апреля 1931 г.). Трагедию поэта он объяснил тем, что у Маяковского был двойник — человек, жаждущий мещанской нежности, любви и полной огромной жалости к окружающим [5, с. 403]. Весьма характерен для того времени и категоричен вывод критика-марксиста: «Но существует бессмертный Маяковский. Бессмертный Маяковский не боится двойника. Двойник умер потому, что он в огромной степени личен. И даже если лучшие произведения, написанные двойником, будут иногда читать с интересом, то они будут иметь исторический интерес, а те, которые написал Маяковский „металлический“,

[3] «Возьмите стихи,— писала М. Цветаева Б. Пастернаку,— это и есть моя жизнь».